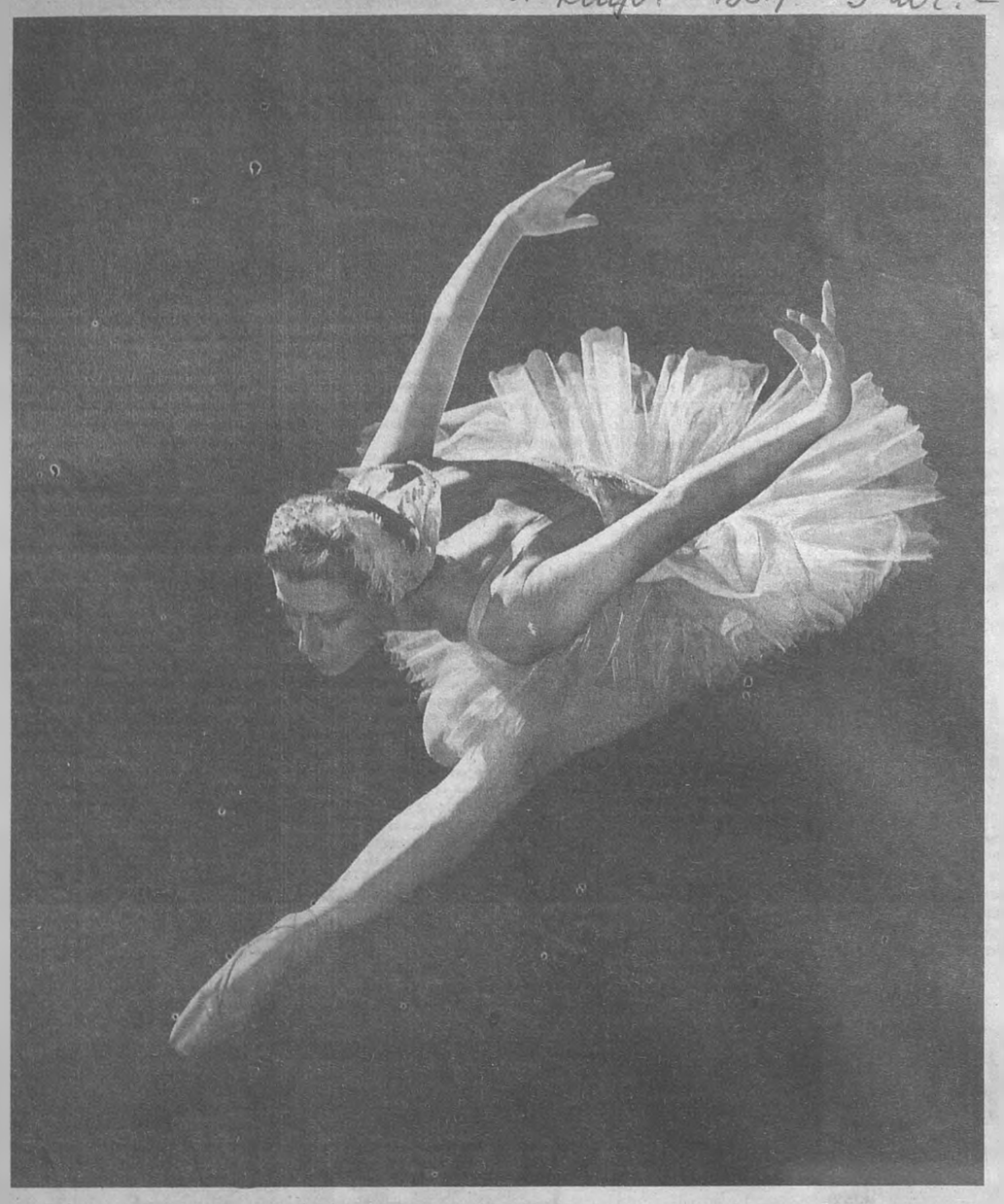
Плисецкая Майя

9.08.94.

Вечер. клуб. – 1994 – 9 авг. – С. 8.



Талантливый человек талантлив во всем. Еще раз эту истину подтверждают мемуары Майи Плисецкой, только что вышедшие в издательстве «Новости». Это литературный дебют Майи Михайловны, и дебют, безусловно, удачный: острая, местами откровенно полемичная, насыщенная яркими деталями и малоизвестными фактами книга читается на одном дыхании. Фрагменты из нее (с незначительными сокращениями) мы предлагаем сегодня читателям «ВК». Часть подзаголовков дана редакцией.

«Я, Майя Плисецкая...»

Литературный дебют

Как я попала на «скамью запасных»

Итак, «основной состав» балета благополучно открыл лондонский сезон Большого (1956 г. — ред.). Горемыки, предпенсионеры, да кто с травмами — остались в Москве. И я тут сижу. Переживаю.

Две мои «умоленные» телеграммы Хрущеву, письма ему же, Булганину, Шепилову — остались без ответа... Никто из вождей говорить со мной не захотел. Слова не услышала.

Судьба моя не была одиночной. На «скамье запасных» внушительная «армада» угрюмых невыездных. Словно павшие воины на поле неравной брани...

В последний лишь день в великой суматохе со скрипом «выпустили» самого Лавровского. Хорошенькое было бы «Ромео» без хореографического автора. А лучшего Тибальда — Алексея Ермолаева — оставили дома. Кто-то «стукнул», что сбежать вознамерился. Или еще что. Солиста Эсфандьяра Кашани попридержали в последний момент по причине, о ужас, что отец родом из Персии. Поздно выяснили, нерадивые. Кто с мужем разошелся, кто с женой разъехался, кто соседям насолил, кто анекдот рассказал — все «неблагонадежные». И каждому ничтожному поводу политическая окраска придается...

Первые дни настырно верещал телефон. Докучливые английские журналисты жаждали сенсаций — отчего осталась в Москве?.. Я трубку не брала. Мать посильно отбивалась, плетя небылицы вокруг да около, а потом и ей надоело. Затем и телефон поприумолк.

Чтобы занять себя, отогнать гадости мыслей, я решила станцевать «Лебединое» с оставшейся в Москве частью труппы. И еще одно тайное желание свербило. Показать миру, что здорова, в форме и танцую «Лебединое». Догадывайтесь, сообразительные, почему тут, а не там.

Наличествующая дирекция согласилась. Что было в их головах — неведомо, но согласились легко, покладисто. Скорей всего, думаю, что версия — «нужна в Москве» могла вместиться в наивные иностранные мозги легче, чем ссылка на мою лжеболезнь.

Вышла афиша.

Но просчитались чиновники...

Весть мигом облетела Москву. У касс ажиотаж, все рвутся на 12 октября билеты заполучить. Прослышали кружными путями, что вместо оперы балет пойдет. «Лебединое». С невыпущенной в Лондон Плисецкой.

Наша советская жизнь выработала неисповедимую, неведомую доселе форму быстрейшей передачи информации. Стремительней скорости света! Как многомиллионный город вмиг узнавал, куда «попадать надо», где сегодня самая горячая точка художественной жизни, где сенсация? Может, нам кибернетики объяснят?..

Мои угрюмые сотоварищи воспряли духом. Встрепенулись. Репетировали вовсю. Не отлынивали. Кто какой партии не знал — осваивал молниеносно.

Но и наши «противники» не дремали. Вражеская команда. Ожил мой телефон. Опять звонок за звонком. И не только билеты просят, но и министерские крысы воркующими голосами «тревогу бьют»: «Вы должны предотвратить демонстративный успех, триумф «назло». И фамилии назову, кто звонил, — Аболимов, Целиковский, Вартанян, Апостолов... Так, для будущих поколений.

Потом от Фурцевой звонок. Она тогда членом Политбюро была.

— Майя Михайловна, с вами будет говорить Екатерина Алексеевна Фурцева. Соединяю.

Когда я звонила по всем проклятым приемным, секретари да секретарши холодили, морозили голоса. На заседании Совета Министров. Сегодня уже не будет. Очень загружен. Тяжелые дни. Готовится к докладу. Принимает делегацию. Завтра уезжает. И Фурцева тоже трубку не брала. А теперь — задергалась. Нашла время. И секретарша — такая приветливая...

— Майя, нам надо повидаться. Посоветоваться. По-женски. Ваш завтрашний спектакль обсудить. Приходите ко мне к пяти. Сегодня. На первый подъезд ЦК. На Старую площадь. Пропуск вам выписан. Не забудьте паспорт взять. До встречи.

И вот я в цековском чистилище. Первый раз переступаю порог партийного улья. Все основоположники марксизма с серебристых стен глаза на меня пялят. Ленин, сам Маркс, Хрущев, Булганин, опять Ленин...

Из-за заваленного бумагами широкого стола поднимается и идет мне навстречу миловидная статная женщина. Средних лет. С усталой, чуть скошенной улыбкой. Тщательно причесанная. С тугим светлым пучком на затылке. В сером аскетичном костюме.

— Так вот вы какая. Наша прославленная балерина...

Мы говорили с ней полтора часа. Обо всем на свете. Но нить рваного разговора, как чуткая крестьянская лошадь, все время возвращалась к своему скотному двору, к стойлу: надо что-то мне сделать, чтобы завтра не было успеха.

— Я могу, Екатерина Алексеевна, только одно. Не танцевать вовсе...

И вот эта миловидная, привлекательная женщина начинает нести сущую ахинею:

— Вы должны обзвонить всех своих поклонниц и поклонников. Объяснить, что будет иностранная пресса. Возможна политическая провокация. Это во вред нашей с вами социалистической Родине...

И, и, и, и...

А я свое твержу:

— Могу не танцевать, Екатерина Алексеевна...

Отвлекаться не хочется, больно горькие дни вспоминаю. Но приторможу ход. О Фурцевой нельзя межу прочим, всуе. Это была яркая фигура в нашем загаженном ничтожествами государстве. Да и конец у Фурцевой был трагическим: она отравилась цианистым калием. Безмерное честолюбие уложило ее на смертный одр.

После членства в Политбюро Фурцеву «разжаловали» в министры культуры. Она сменила Михайлова. И жизнь моя добрых полтора десятка лет перекрещивалась, сталкивалась лбами, воевала, смирялась с Фурцевой. Ее нельзя писать одной краской. Черной. У Екатерины Алексеевны — множество оттенков.

Начну с фамилии. Внешность у нее была самая славянская. Но фамилия редкая, вроде пришлая, чужеземная. Много раз, особливо после спиртных возлияний на артистических банкетах, она любила в окружении подобострастной, рты пораскрывавшей российской толпы мило, обаятельно побахвалиться, как всеми любима. Но больше всего, говорила она, любят меня в Германии. Немцы толпами собираются вокруг, я как магнит их притягиваю, все улыбаются, рассказывала, ручки мне целуют. Госпожа Фурцева, госпожа Фурцева... Не решились ее министерские оруженосцы изящно уговорить своего министра пореже ездить в Германию. Прозрачно намекнуть, дескать, что фамилия Фурцева для немцев не самая благозвучная. Отвратить от нее посмешище. Не выставлять на глумление и позор. Открою словарь и процитирую: «FURZEN» переводится как «испускать ветры», «пердеть» («пернуть»). Это русско-немецкий словарь Лангештайдта. Страница 220. Самый распространенный. Желтый с синим. На каждом углу в Германии продающийся. Ан был кто-то у министра в роду из крепостных, батрачивший у немецкого, предположу, помещика. Злоупотреблял предок некими звуками, и прозвал его немецкий колонист Фурцевым...

Ну а серьезно, была она живым существом, не канцелярской куклой из папье-маше. Ее можно было растрогать, увлечь, переубедить, пронять, прогневать. Она тут же при вас хваталась за телефонную трубку, вступала в перепалку с неким отпетым бюрократом. Повышала на него голос, сердилась. Но... Монстру КГБ и она перечить не могла. Этот приговор обжалованию в советской системе не подлежал...

На самый послед она сщурила свои серо-голубые глаза и, напрягшись, в упор спросила:

— Вы говорили, что в партию у нас вступают не из убеждений, а ради карьеры?

— Не помню. Но раз у Серова это написано...

Фурцева вздрогнула. Мое упоминание всемогущего имени было ей в неприязнь. Она бегло оглядела углы кабинета. Может, и там тоже микрофоны?..

...И вот еще одно мое «Лебединое». Опальное!

Театр набит до последнего предела. В железную дырочку занавеса, пока еще свет в зале не затух, вижу кипящий котел людей. Предспектакльный пьянящий рокот переговаривающейся публики, гул тысячи шмелей. Разыгрывающиеся пассажи усевшегося уже оркестра. В боковых ложах — виноградные грозди. Сплошные люди. В проходах верхних ярусов, словно монеты в тугом кошельке, — человек к человеку. В партере уйма знакомых лиц. Вся Москва пришла. Со мной солидарны. Поддержать хотят. Диссиденткой вроде я стала. Одной из самых первых...

Кто-то легонько барабанит мне в спину. Помощник режиссера. Саша Соколов.

— Смотри, вон в первом ряду в центре слева Серов с женой сидит.

Разглядываю бесцветное, вошное лицо скопца, с белобрысым проборчиком редких волосенок. Молнией — жуткая ассоциация. Как он похож на сталинского наркома по Смертям Ежова (его фотографии перед Тридцать Седьмым сновали день за днем по газетам). Профессия палачей или природа делает их похожими друг на друга.

Большего успеха в «Лебедином» на мою долю за жизнь не выпадало...

Как я одевалась

Когда угляжу в уличной толпе отрешенную монашку в накрахмаленном баберо или бравого лощеного поручика, всегда думаю, как бы выглядели, воспринимались они, скажем, монашка — в глубоко декольтированном платье от Пьера Кардена или поручик — в измусоленной тамбовской телогрейке с масляными разводами на обвислых ватных штанах?..

Как многое значит для человека одежда!

Внешняя оболочка лепит образ. Только она. По ней мы строим свое восприятие личности. На ней основывается наше суждение о человеческой особи. Да, одежда диктует и поведение. Манеры не выручат (ладони могут лишь в самой близи выдать...). На выяснение, кто есть принцесса на горошине, и то целая ночь спонадобилась...

Как же я одевалась? Во что? Где и у кого покупала свой гардероб? В ГУМе ведь пригожего платья не сыщешь. Отродясь его туда «не завозили».

Жила-была в Москве волшебница Клара. Не совсем волшебница, но... предпринимательница. Скажем так. Клара ходила по домам актеров — главным образом невыездных. При ней всегда была внушительных размеров сумка, в которую вмещался целый платяной шкаф. Платья вечерние и каждодневные, пальто, пелерины, туфли, кофты, нижнее белье, сумочки...

Все Кларины сокровища были импортные. Хорошего качества. Жены советских дипломатов регулярно продавали ей свой ходкий товар. Контрабандная тропа была хорошо протоптана.

Вещи всегда новые, с радужными ярлыками и марками заморских магазинов. Только цены были нерадужными — стоили предметы роскоши баснословно дорого. Но в рубище не походишь. Надо одеться не хуже тех, кто ездит в загранку. Смотрят на меня. Я на виду.

Однако от неношеных вещей слегка потягивало горьким потком. Это юная дочь Клары примеряла на себя перед очередным маминым визитом по актерским берлогам весь гардероб.

Все, что я носила, я купила у Клары. Втридорога. Она не была альтруисткой.

Если пригожая вещь не подходила, не совпадал размер, было тесно, топорщилось, Клара аккуратно складывала платье обратно в волшебную сумку и торжественно провозглашала:

— Я с этим еще буду работать...

Она подразумевала, что вещь непременно найдет своего покупателя.

В Большом балете у Клары были и другие клиентки — из того же племени «невыездных», что и я. Мать моей театральной подружки Вали Пещериковой, надсадно страдавшая за свою невыездную дочь, в порыве слепой злости изрекла бессмертный афоризм. Он долгие годы — горькой ухмылкой — скрашивал ограниченность наших балеринских гардеробов. Тех, кто сидел в Москве.

— Хуже их ходить не будем!..

И мы не ходили хуже. Но для этого пришлось «обтанцевать» тысячи крохотных клубных сцен, нетопленных, кривополых площадок, исколесить сотни растерзанных немощеных дорог, проложить множество тяготных маршрутов, наступить, намучить ноги, нахлебаться вдоволь неистребимого российского хамства. Элегантность давалась кровью.

Я уже писала, что моя полутеатральная броская одежда была моим бунтом, мятежом, вызовом системе. Даже наши тугоумные вожди чувствовали — что-то здесь неспроста, наряжена, как на сцене, не по-нашенски. Это в те годы Хрущев сказал мне с неким укором:

— Вы слишком красиво одеты. Богато живете?..

Сложнее обстояло дело с шубами. Сколько ни танцуй по клубам — Кларины меха не по карману. Так я исходила семь лет кряду по мерзлым снежным российским зимам в старом Митином каракулевом манто. Серые каракулевые шкурки совсем облезли, стерлись местами, образовав внушительные плешины. Мне пришлось прибегнуть к помощи театрального скорняка Миркина, перебравшего подыстлевший мех. Клиньями вшить в бока серое же шинельное сукно. Так и каракулевая шапочка выкроилась!..

Люди числили меня модницей. Но ощущение моды, модности пришло ко мне куда позднее.

Вернувшись из Парижа — это был уже 66-й год, — где Надя Леже подарила мне опять же каракулевую, черную макси-шубу, прошитую кожными аппликациями, я, вырядившись в нее, вышла из дома на Горького, чтобы поймать такси, — первая же, взбаламученная видом моим москвичка окрестила себя православным знамением и гневно взвизгнула:

— О, Господи, греховница-то...

По части шубы-макси я была в Москве Христофором Колумбом.

И еще позже, когда через Надю Леже я познакомилась с Пьером Карденом, великим, неповторимым, неистощимым выдумщиком Пьером Карденом, и побывала на его ослепительных коллекциях, я смогла нутром ощутить, что мода — это искусство. Полное тайн, недосказанности, волшебства искусство.

Я твердо знаю, что благодаря костюмам Кардена получили признание мои балеты «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой». Без его изощренной фантазии, достоверно передавшей зрителю аромат эпох Толстого и Чехова, мне не удалось бы осуществить мечту.

В самый разгар работы над «Анной» я волею судеб вновь оказалась в Париже. За завтраком в «Эспас» я рассказала Кардену о своих муках с костюмами «Карениной».

В ту толстовскую пору женщины заворачивали себя в длинные, в пол, облегающие платья, да еще сзади подбирался тяжелый оттопыренный турнюр. В таком костюме и походить толком не походишь, а тут — танцуй. Перенести же действие в абстракцию никакого желания не было. Какая же к черту Анна Каренина в тренировочном трико!

Безо всякой надежды, больше для размышлений вслух, я сказала Кардену:

— Вот бы вы, Пьер, сделали костюмы для «Анны». Как было бы чудно...

У Кардена в глазах включились батарейки. Словно ток по ним пошел.

— Я знаю, как их надо решить. Тут нужно...

И уже через неделю я была в карденовском бутике на Avenue Matignon на примерке. Карден сам придирчиво контролировал каждую складку, шов, каждую прострочку. И все время просил:

— Подымите ногу в арабеск, в аттитюд. Перегнитесь. Вам удобно? Костюм не сковывает движений? Вы чувствуете его? Он должен быть ваш более, чем собственная кожа...

Пьер создал для «Анны» десять костюмов. Один лучше другого. Настоящие шедевры. Их бы в музеях выставлять...

— Последнее платье-саван. Как Плащаница Христа. Серое — на черном. Серое, как дымок паровоза... — Так комментировал Пьер примерку финального смертного платья Анны. (Пожалуйста, не подумайте, что я внезапно так бойко заговорила по-французски. Это наш общий друг Лили Дени — добрая, редкая душа, владеющая в совершенстве обоими языками, была всегда рядом, всегда в помощь, в дружбу...)

К премьере Карден прислал мне в Москву несколько фирменных коробок с готовыми платьями-сокровищами. И коробки забыть не могу: под старину — в таких прадедовы выходные цилиндры хранить — белоснежные, с широкими узорчатыми лентами, в бантах. И два слова — «PIERRE CARDIN».

Технический трюк решения Кардена был прост. Он приподнял к талии боковые сборки платьев петербургских модниц и... высвободил ноги, при этом не меняя женского силуэта той поры. Любое движение стало возможным. А вместо турнюров Карден обошелся широченными, но полувоздушными бантами с ветвистой тесьмой в пол. Так же сочинил он и мою шубку в ансамбле с вельветовой муфтой, увенчанной черной атласной розой. В этом одеянии в порывах снежной метели я являюсь впервые Вронскому на перроне московского вокзала...

Божественно лучится световая гамма костюмов. Черный бархат с газовым шлейфом на балу, сиреневые виньетки в салоне княгини Бетси, белые крылья, чуть скрывающие обнаженное тело в сцене «падения» Анны, желтая клетка со страусовыми перьями на «скачках», шоколадно-коричневая гамма сада Вреде, небесная лазурь итальянского счастливого па-де-де... Всех костюмов я не перечисляю.

А какие платья сделал Карден для моей «Чайки»!..

И еще — «Дама с собачкой». Всего одно платье. Но какое! Видеть его надо, мой дорогой читатель.

Все драгоценные театральные наряды (а Карден делал мне и кинокостюмы, например, к тургеневским «Вешним водам») были его царскими подарками.

Мой милый бессребреник Пьер! Как я могу словами передать тебе мои чувства...

Но в афише Большого театра имя Кардена не стояло. Выпало. Забыли. Наши костюмы все. Советские.

Это Министерство культуры панически запретило дирекции в перечислении авторов называть имя иностранца. Да еще такое: Карден.

Пьер и ухом не повел. Аноним — пусть аноним. Придет время...

Лишь годами позднее, исподволь, сначала в гастрольном турне, мелким петитом упомянули создателя костюмов «Анны». Потом и в программе Большого пропечатали. Так черепашьим шагом раздвигался мало-помалу железный занавес... И раздвинулся до того, что летом 1991 года на Красной площади Москвы состоялся показ карденовских мод. Я стояла рядом с Карденом, глазам не веря, прося ущипнуть меня покрепче ...

1968 г. Родион Щедрин и Майя Плисецкая в московской квартире

1972 г. Париж. С Пьером Карденом на примерке костюмов к «Анне Карениной»

1977 г. «Кармен-сюита»

Как нам платили

В Америке в 1959-м я получала за спектакль 40 долларов. В дни, когда не танцевала, — ничего. Нуль.

Кордебалету выдавали по 5 долларов в день. Суточные. Или «шуточные», как острили.

А когда позднее я танцевала в Штатах «Даму с собачкой», то американской собачке, с которой я появлялась на ялтинском пирсе, платили 700 долларов за спектакль. Но это так, между прочим.

Денежные расчеты с артистами в советском государстве были всегда тайною за семью печатями. Запрещалось, не рекомендовалось, настоятельно советовалось не вести ни с кем разговоров на эту щекотливую тему. Особливо, как понимаете, с иностранцами.

Прозрачно намекали, что заработанные нами суммы идут в казну, на неотложные нужды социалистической державы.

Кастро вскармливать? Пшеницу закупать? Шпионов вербовать?..

Позже просочилось на свет божий, куда уплывали валютные денежки. К примеру, сын Кириленко — дважды Героя Социалистического Труда, бывшего секретаря ЦК и члена Политбюро — с разбитной компанией дружков-шалопаев регулярно наведывался в саванны Африки охотиться. На слонов, носорогов, буйволов, прочую африканскую дичь. Для забавы отпрысков партийных бонз лишали артистов в поту заработанного, продавали задарма собольи меха, древнюю утварь скифов, живопись. Отбирали гонорары у спортсменов.

Как просуществовать на 5 долларов? Удовлетворить нужды семьи? Купить друзьям подарки? Ребус.

Стали обыденными голодные обмороки. Даже на сцене, во время спектаклей. («Мы — театр теней», — потешали себя артисты).

Хитрющий Юрок тотчас смекнул — эдак недотянут московские артисты до финиша гастролей. Стал кормить труппу бесплатными обедами. Дело сразу пошло на лад. Щеки зарозовели, скулы порасправились, все споро затанцевали. Успех!..

Когда поездки за рубеж стали делом вполне привычным, а таких расчетливых импресарио, как Юрок, больше не находилось, артисты Большого балета начали набивать в дорогу чемоданы нескоропортящейся «жратвой». Впрок. Консервы, копченые колбасы, плавленые сыры, крупы. Сдвинуть такой продовольственный баул с места простому смертному не под силу было. Поджилки лопнут. Только натренированные на поддержках танцоры легко расправлялись с непомерной тяжестью.

На пути запасливых вставала таможня. Тут на кого попадешь. Когда конфисковывали, когда сходило...

Так у всех нас это на памяти, что сомневаюсь — писать ли? Для будущих поколений напишу. Пускай узнают про наши унижения...

Гостиничные номера Америк, Англий превращались в кухни. Шла готовка, варка. По коридорам фешенебельных отелей сладко тянуло пищевым дымком. Запах консервированного горохового супа настигал повсюду надушенных «Шанелью» и «Диором» тутошних леди и джентльменов. Советские артисты приехали!..

К концу поездок, когда московские запасы иссякали, танцоры переходили на местные полуфабрикаты. Особым успехом пользовалась еда для кошек и собак. Дешево и богато витаминами. Сил после звериной пищи — навалом... Между двух стиснутых казенных гостиничных утюгов аппетитно жарили собачьи бифштексы. В ванной в кипятке варили сосиски. Из-под дверей по этажам начинал струиться пар. Запотевали окна. Гостиничное начальство приходило в паническое смятение. От дружно включенных кипятильников вылетали пробки, останавливались лифты. Мольбы не помогали — мы по-английски, мадемуазель, донт андестан. Ферштейн зи?..

Где-то у Лескова сказано, что российский люд проявлял всегда чудеса изворотливости, особливо во времена сильных прижимок (цитирую по памяти, только смысл). Вот вам, пожалуйста...

Каждый «суточный» доллар был на строжайшем счету. Один из моих партнеров на предложение пойти вместе в кафе перекусить с обезоруживающей откровенностью сказал:

— Не могу, кусок застревает. Ем салат, а чувствую, как дожевываю ботинок сына...

Саранчовая вакханалия обрушивалась на отели, где держали шведский стол. В течение нескольких минут съедалось, слизывалось, выпивалось все подчистую. До дна. Замешкавшиеся, проспавшие грозно надвигались на персонал, брали за грудки, требовали добавки, взывали к совести...

Позор. Стыдобища.

Я живописую то, чему сама свидетельницей была. Свой родной Большой театр. Но то же самое происходило с другими гастрольными группами. Разница могла быть в малых оттенках. Вроде: в ансамбле народного танца Грузии суточные составляли 3 доллара в день...

Как я отношусь к Григоровичу

По телевидению на всю страну Григорович плаксиво жалуется: давно ничего не ставлю? труппа бездействует? Да мне балетные оппозиционеры работать мешают. В творчество погрузиться не дают...

Ты, Юра, полновластный хозяин труппы в двести с лишним человек. Тысячу репетиций надо — бери, только ставь что-нибудь новое, две тысячи, год работы, два, три, четыре — советское государство за все платит, что хошь делай. Ты ж монарх абсолютный!..

То одну работу во всеуслышание наобещает, то другую. Молчание. Тишь. Будто ослышались люди.

Вот кому действительно работать мешали — не пятерка-шестерка несогласных фимиам курить балетных «оппозиционеров», а все советское государство, так это Шостаковичу, Ахматовой, Голейзовскому, Якобсону, Зощенко, Прокофьеву. Но — работали. Творили. А за тобой вся сверхдержава мира стоит, во всем тебе потакает. Держава, до зубов вооруженная, с ракетами, танками, авианосцами. Какого куля тебе еще надо?!

Когда вся энергия не на творчество идет, а на карательные расправы с балетными инакомыслящими, на божественное самоутверждение, тогда уже не до сочинения балетов!..

И совсем без совести, что старается Григорович с остервенением вселить в мозги, что Большой театр — это он, Григорович (по Маяковскому: «партия и Ленин — близнецы-братья» или по Людовику XIY «Государство — это я»). Ничего на гастроли вывозить нельзя, кроме святейших опусов Самого. Сплошные фестивали Григоровича.

Бежар зачал, родил, вскормил, выпестовал свой «Балет XX века». С нуля. У него есть право называть свою труппу балет Бежара. Но до Григоровича Большой балет двести лет уже был. Иванов — был, Горский — был, Тихомиров — был, Моисеев — был, Вайнонен — был, Захаров — был, тот же Лавровский — был. А вот и не были!.. Один Григорович 200 лет был.

По прошествии времени мне рассказал Сэм Нифолд из нью-йоркской конторы «Коламбия артистс», как желали они пригласить на гастроли труппу Большого с несколькими балетами Григоровича и моей «Анной Карениной».

— Я не решался раньше рассказать вам, что сотворилось с Григоровичем, когда мы сказали ему об этом. С ним случилась истерика.

Я не удивилась.

— Он стал весь белый, как мертвец, и, захлебываясь, закричал: или я, или Плисецкая.

Мы еле привели его в чувство. Конечно, вы, маэстро. В конце концов он же руководитель труппы. Хотя жаль. Был бы красивый сезон. Американцы ждали «Анну»...

... Несколько лет назад редактор либеральной и по-настоящему смелой в годы перестройки газеты «Московские новости» все же отклонил просьбу нескольких причастных к балету артистов напечатать их открытое письмо Григоровичу. Редактор все допытывался:

— Я далек от балета. Но объясните мне, пожалуйста, кто стоит за Григоровичем? Ну не оперетчный же министр Захаров? Без суперподдержки, целые годы ничего ровным счетом не делая, и гению не удержаться. А что, внучка Горбачева не учится ли балету?..

— Вы, редактор, ясновидящий. Учится внучка Горбачева балету...

Внучки членов Политбюро — вот та непробиваемая броня, которая так надежно хранила Юрия Николаевича Григоровича и Софью Николаевну Головкину — директрису московской балетной школы (академии, училища — один черт).

Для шестилетней внучки Горбачева Ксюши Головкина открыла специальный подготовительный класс. При нашем безудержном российском подхалимаже можно было начинать учить балету внучку президента и пораньше. Зачем не в колыбели? Ну а если бы Анна Павлова или Ольга Спесивцева были бы внучками — одна Горбачева, другая Андропова? Что тогда — не учить их балету?

В стране, где дедушка — президент, прошу вас, не учите. В стране, где государство содержит и школу, и театр, полностью финансирует их, — прошу вас, не учите. А если страна советская, партийная, изуродованная, втройне прошу вас, не учите!

Один просто приезд скромно, приветливо улыбающейся Раисы Максимовны на черном бронированном лимузине с дюжиной охранников дает такой капитал директору, такую безграничную власть, наводит такой страх на педагогов и соучениц маленькой Ксюши — вдруг отчислят, — такой перекос во взаимоотношениях между всеми, что теряется и здравый смысл, и всякое подобие объективности. А потом к месту и не к месту ввертывает Софья Николаевна в разговор, что были мы вчера с Раисой Максимовной в бане, и она очень настаивала... И Григорович на том же стоит (они с Головкиной в одной упряжи): был у Горбачева, и он мне говорит — делайте, Юрий Николаевич, все, что находите нужным, увольняйте, отчисляйте из театра, выводите на пенсию — словом, полный картбланш дал. От таких речей у советских чиновников всех уровней сердце в пятки падает. В струнку вытягиваются. За спиною ведь 70 лет подлостей, лизоблюдства. Вот вам и сановные внучки!..

Я пишу это со спокойной душою. Маленькая Ксюша — теперь она уж, верно, подросла, и дай ей Бог удачи и везения на балетном поприще, если не бросит, — сказала в своем недавнем интервью немецким журналистам, что Анна Павлова и Майя Плисецкая — ее идеал и мечта. Спасибо, Ксюша. Но я стою на своем. Вмешательство президента и Раисы Максимовны в наши балетные дела было вредным и губительным. Лучше бы вам, Михаил Сергеевич, в ответственнейший момент истории не в балет нос совать, а решительнее и попристальнее экономикой, а на худой конец охраной складов оружия заняться. Может, меньше крови по окраинам бывшего Союза пролилось бы тогда...

И совсем курьез. Переводят мне из немецкой газеты «Бильд» сенсационную заметку. Как спасла директриса Головкина Ксюшу от похищения (совсем «Похищение из сераля»). Вышла из своей славной академии танца и видит: стоит у тротуара машина, а в ней три угрюмых верзилы. Тотчас смекнула Софья Николаевна, что не иначе как три разбойника за Ксюшей охотятся. Смело подошла к злоумышленникам, тревогу забила. Они, ясное дело, наутек. До усеру испугались смельчихи Головкиной. А Головкина — бегом в школу. Прижала к груди Ксюшу, по голове гладит, слезы с трудом сдерживает — я тебя никому не отдам, моя голубка. А тут уж Раиса Максимовна на черном лимузине подоспела. Спасли Ксюшу. Слава Головкиной, многая лета!..

Меня не оставляет в безразличии судьба Большого балета. Большой — это вся моя жизнь. Вся без остатка. У меня взаправду болит сердце, что власть на театре и в училище забрали себе люди, для которых как раз Власть — самое главное, самое драгоценное, самое прекрасное, что есть на свете. Не творчество, не балет, а Власть. И держат они ее мертвой, бульдожьей хваткой. Срок этой хваткой власти ох как длинен. Когда пишу, уже тридцатилетие прошло...